

НАДЕЖДА СОКОЛОВА



ПОМЕСТЬЕ  
ЛЕДИ АННЫ

# Надежда Соколова

## Поместье леди Анны

*<https://litres.ru/74047603>*

*SelfPub; 2026*

### **Аннотация**

Я очнулась в другом мире, не помня ничего о себе настоящей. У меня есть разрушенная усадьба, непонятное прошлое и туманное будущее. Я не привыкла отступать и пойду вперед, чтобы узнать о себе все, что смогу. Ну и заодно усадьбу восстановлю. Я смогу. Я сильная.

# Содержание

Глава 1	4
Глава 2	21
Глава 3	37
Глава 4	55
Конец ознакомительного фрагмента.	61

# Надежда Соколова

## Поместье леди Анны

### Глава 1

Лето катилось к закату — неспешно, как тяжёлая телега с возом сена, и каждый его день отливало золотом и медом. Август стоял тёплый, сухой — самый сподручный для уборки хлеба месяц. Воздух сделался прозрачным и звонким: если прислушаться, можно было различить, как за лесом стучит крыльями ветряная мельница и как в траве лопаются от зноя сухие стручки. Пахло мёдом, перестоявшими травами и первой, едва уловимой горчинкой увядания — тем особенным запахом, который бывает только в пору, когда природа, надышавшись вволю, начинает тихо готовиться ко сну. По утрам на траву ложилась тяжёлая роса — холодная, как вода из глубинного колодца; босиком по такой росе ступить нечего и думать, ноги сводит до костей.

В усадьбе сбор урожая начинался с огорода, и это имело свою мудрость: прежде чем взять хлеб, нужно поклониться земле, что кормит всю зиму зеленью. Жанна вставала затемно, раньше всех, и я часто просыпалась от её голоса, доносившегося из-за стены — властного, певучего, каким только бывал утренний голос женщины, привыкшей повелевать

грядками и корзинами.

— Астер, огурцы неси! Ольнара, помидоры складывай в корзины, не дави! Каждый плод — как дитя, бережно!

Я спускалась вниз уже к тому часу, когда солнце поднималось над лесом — не резко, а степенно, как и подобает августовскому светилу, которое прошло половину своего пути. Двор заполнялся кадками, вёдрами и корзинами — они появлялись словно сами собой, и в этом организованном хаосе чувствовалась рука, знающая толк в хозяйстве. На тёсаных досках стола блестела влага от только что вымытых плодов; в тени под навесом висели пучки трав — укропа, петрушки, сельдерея, готовые отправиться на сушку.

Жанна командовала парадом, засучив рукава до локтей — руки её, смуглые и сильные, были все в зелёных разводах и мелких царапинах от стеблей. Платок сбился на затылок, открывая седую прядь, и мне вдруг подумалось: сколько же таких августов она повидала на своём веку? И каждому отдавалась без остатка.

— Госпожа, — встретила она меня, вытирая лоб концом передника — передник был когда-то белым, а теперь в коричневых соках и рыжих пятнах от моркови. — Помидоры в этом году загляденье: крупные, мясистые, на соленье пойдут и на сок. Посмотрите, — она разломил один, и я увидела алую мякоть с зёрнышками, похожими на маленькие капли янтаря. — Настоящий королевский плод. Огурцы уже тремя партиями собрали — всё хрустящие, без горечи. Я один огур-

чик с дальней грядки попробовала — язык не щиплет, сладкий даже.

Я провела пальцем по прохладному боку помидора и подумала о том, как странно устроена жизнь: ещё месяц назад здесь зрела завязь, зелёная и жёсткая, а теперь в моей руке лежала тяжесть, вобравшая в себя всё тепло уходящего лета.

Астер носила с грядки тяжёлые вёдра — вёдра оттягивали руки, и она останавливалась перевести дух, ставила их на землю и вытирала лицо рукавом. Я заметила, как она улыбается, глядя на полные корзины: эта простая радость — когда есть что убрать и есть куда положить — читалась в её молодых, ещё не тронутых морщинами глазах. Ольнара и Агнесса мыли корнеплоды у колодца — вода летела из ведра, сверкая на солнце мелкими осколками радуг. Морковь, свёкла, репа складывались в ящики с влажным песком — в подвал, на долгую зиму. Песок был особенный, речной, мелкий и чистый, его возили ещё по весне с нижнего брода.

— А это что? — спросила я, заметив на столе небольшие продолговатые плоды, похожие на жёлтые сливы, но покрытые тонкой, как папиросная бумага, оболочкой. Они лежали в отдельном лукошке, и мне показалось, что они светятся изнутри — мягким, молочным светом.

— Физалис, — ответила Жанна с гордостью, и в голосе её прозвучала та особенная нотка, какой говорят о редком госте, прижившемся на твоей земле. — Матиас семена принёс, сказал, полезно от простуды. И не только — он, говорит,

язву лечит и головную боль унимает. Я варенье сварю, будете с чаем зимой пить. А можно и сырым есть, — она сняла с одного плода высохшую оболочку, и он открылся гладким, маслянистым боком. — Попробуйте, госпожа.

Я взяла физалис в рот — вкус оказался странным: кисло-сладким, с терпкой ноткой, похожей на крыжовник, но мягче. И сразу же в горле стало прохладно, будто я глотнула ключевой воды. «Матиас знает, что делает», — подумала я. В этом мире, где магия не кричит о себе на каждом углу, а живёт в корнях, травах и плодах, такие дары кажутся почти чудесными.

Запасать приходилось всё: морковь, свёклу, репу, капусту, лук, чеснок. Каждому овощу — своё время, своя ласка и своё место. Капусту срезали целыми телегами — кочаны были тугие, как каменные ядра; когда их брали в руки, чувствовалась тяжесть, словно держишь не растение, а плотно упакованный сундук летней силы. Мирк потом рубил её ножом в больших деревянных корытах — квасить. Корыто было таким широким, что в нём мог бы выкупаться годовалый ребёнок. Мирк рубил старательно, с побряхтыванием, и каждый удар ножа звучал глухо и мерно — как удары сердца, замедляющиеся к вечеру. Нашинкованные ломти он швырял в кадки, пересыпал морковью и крупной солью — соль была сероватой, не такой белой, как на господском столе, но для квашения самая подходящая: с ней капуста выходила хрусткой, с искрой.

— Бабка моя учила: солить на растущую луну, — объяснял он мне, когда я подходила посмотреть, и я видела, как его морщинистое лицо становится почти торжественным. — Тогда капуста хрустящая будет и долго не прокиснет. А на убывающую — мягкая получится, для щей, но не для хрусту. Месяц нынче молодой, так что в самый раз.

Он поднял голову к небу, будто сверялся с невидимыми знаками, и я подумала: сколько же поколений крестьянских рук, сколько бабок и дедов оставили свои приметы в этой простой науке — засолке капусты. И магия здесь не колдовская, не из книг, а самая настоящая, земная — та, что живёт в движении соков, в тяготении луны и в терпении человека.

Рядом с ним возился Жерар — помогал утрамбовывать капусту, сок отжимать. Раньше, ещё месяц назад, он бы поморщился, увидев свои руки в рассоле, побрезговал бы квашенным запахом, от которого провоняла вся кладовая. А теперь ничего — привык, даже азарт появился. Он налегал на деревянный пест обеими руками, и на лбу у него вздувались жилы — парень работал всерьёз, не для вида. Я заметила, как он иногда нюхает капусту, пробует на язык и одобрительно кивает.

— Леди Анна, — сказал он, отдышавшись, и в голосе его прозвучало то живое любопытство, которого я раньше в нём не замечала. — А вы знаете, что в соседнем королевстве капусту с тмином солят? Я пробовал, когда... ну, когда путешествовал, — он запнулся, но тут же продолжил. — Вкусно,

пряно так. На следующий год попробуем?

— На следующий — попробуем, — улыbnулась я, чувствуя, как от этой улыбки теплеет внутри. — В этом — что есть, то и солим.

И мне стало радостно оттого, что он говорит «попробуем», включая себя в хозяйство. Не наёмник, не чужой — свой. Август менял всех нас, даже тех, кто пришёл с мечом, заставлял братья за лопату и солонку.

На второй неделе август начали вывозить хлеб с полей. Это было событие, которое чувствовалось за версту — не звуком даже, а особым напряжением воздуха, какое бывает перед битвой, только здесь битва была мирной: с землёй, с погодой, со временем. В усадьбу пришли жнецы — мужики из окрестных деревень, с косами и серпами. Косы блестели на солнце так, что глазам становилось больно: каждую выточили, каждую правили бруском до остроты бритвы. Я смотрела, как они выстраиваются в ряд — спина к спине, плечо к плечу, — как взмахивают косами, и хлеб падает на стерню ровными, аккуратными рядами. Взмах — и шелест, взмах — и шелест. И в этом ритме было что-то древнее, первобытное: люди и пшеница, жатва и голод, жизнь и смерть — всё сплелось в одно.

— Валёк! — кричит один. — Волокуша!

Голоса перекликались через поле, и мне казалось, что они переговариваются с самой землёй, спрашивают разрешения, благодарят. За жнецами тянулись телеги — скрип ко-

лѐс, фырканье лошадей, матюжки возниц. Женщины с граблями сгребали колосья, вязали снопы — быстро, ловко, словно всю жизнь только этим и занимались. Пальцы мелькали, солома звенела, и вот уже сноп перехвачен жгутом, брошен в телегу. Дети бегали, подбирали упавшие колоски, связывали их потом в маленькие пучки — "на кашу", как говорила Жанна. Один мальчуган — лет шести, в разодранной рубахе — протянул мне такой пучок и сказал серьёзно: «Тётка, возьми. Там пять колосков, будет каша на всех». Я взяла, и горло сжалось от неожиданной нежности.

Я стояла на меже — узкой полосе некошенной травы, разделявшей поле и дорогу. Стояла долго, вдыхая запах свежего среза, горьковатой полыни и нагретой солнцем земли. И земля говорила со мной. Не словами — чувством усталости, щедрой и спокойной, не требующей платы. Чувством благодарности, которое поднималось от корней сквозь подошвы сапог. Чувством счастья — тяжёлого, как полный сноп, и такого же настоящего. Она отдала всё, что накопила за лето — каждое зерно, каждый корешок, каждый сладкий сок в помидоре. И теперь ждала отдыха. Ждала, когда улягутся телеги, когда опустеют поля, когда ляжет первый снег — и можно будет спать, набираться сил до нового апреля.

Я закрыла глаза и, кажется, услышала, как земля выдохнула. Глубоко, свободно, в последний раз перед долгим сном. — Хороший урожай, — сказал кто-то за спиной. Голос был негромкий, но я узнала его сразу — в нём всегда звуча-

ла та спокойная уверенность, какая бывает у людей, подолгу живших в тишине лесов и полей.

Я открыла глаза и обернулась. Матиас спустился с холма, опираясь на посох. Трава под его ногами не шелестела — он ступал мягко, по-звериному, и в этом было что-то от старой лесной магии, не колдовской, а той, что живёт в корнях и родниках. Посох был из ясеня, тёмный от времени, с натёртой ладонью рукоятью. Матиас остановился в двух шагах от межи, и я заметила, как он щурится на поле — не как хозяин, считающий прибыль, а как лекарь, слушающий больного.

— Хороший, — согласилась я. Голос мой прозвучал глухо — долгое стояние на солнце иссушило горло. — Рожь густая, овёс высокий.

И я подумала: вот оно, главное отличие этого года от прошлых. Тогда, при старом владельце, поля тоже родили, но никто не выходил на межу, чтобы просто постоять и послушать. Земля давала — и ей не говорили спасибо. А сейчас...

— Твоя заслуга, — он кивнул в сторону поля, и кончик посоха описал в воздухе короткую дугу, будто благословляя колосья. — Земля тебя чувствует. И отдаёт.

Я не ответила. Может, и так. А может, просто земля была благодарна за то, что о ней вспомнили. Не только вспахали и засеяли, а именно вспомнили — как живую, как мать, которая устала, но не озлобилась. Я провела ладонью по верхушкам овса; стебли пружинили, щекотали кожу. И мне вдруг показалось, что поле мурлычет — глухо, низко, на грани

слышимого.

В деревнях уборка шла похоже, но с большим размахом — там не было усадебных амбаров, не было Жанны с её соленьями, там каждая семья держалась за свой сноп как за жизнь. Я часто ездила туда верхом, смотрела. Лошадь подомной была гнедая, спокойная, и я любила этот час, когда мы выходили за ворота и дорога сама вела нас — сначала мимо жнивья, потом через молодой осинник, потом вдоль ручья, где вода казалась чёрной от падающей тени.

Жнецы выстраивались вдоль поля — не ровной линией, как в усадьбе, а полукругом, чтобы ни один колос не ушёл. Мужики постарше брали косы — широкие, со спуском, как их деда учили. Молодёжь — серпы, потому что серп требует сноровки, сноровка приходит с годами, а горячая сила тратится быстро. Работали от зари до зари, с короткими перерывами на еду и отдых. Перерыв — это когда баба раскладывает на траве краюху хлеба, кринку молока и лук с солью в тряпице. Мужики ели молча, жадно, не поднимая глаз; потом валились на спину, закрывали лица шапками и лежали ровно столько, чтобы сердце успокоилось. А потом снова — в поле.

— Леди Анна! — кричали мне. — Поглядите, боги дали!

И они крестились — не в ту церковь, в которую ходят в городах, а по-своему, широко, кланяясь на восток, где вставало солнце. Богов у них было много — и тот, что над полем, и тот, что в колодце, и третий, что в печи. Но сейчас они бла-

годарили всех сразу, потому что урожай встал отменный: колос плотный, не пустой, зерно крупное, как мышинные яйца, от земли не душное, не палое. Я брала колос в руку, растирала ладонями — зёрна высыпались тёплые, тяжеловесные, пахли мукой и солнцем.

В Новой деревне Жак-столяр, он же староста, организовал общинную молотьбу. Это было его решение — умное и нелёгкое, потому что каждая семья привыкла прятать своё добро, а тут надо было скидываться в общий котёл. Но Жак сумел убедить. «Врозь — мы слабы, — говорил он на сходе. — Вместе — сила». И мужики согласились, потому что Жак не просто столяр, он ту же землю пашет и ту же нужду знает.

Свезли снопы на общий ток — утоптанную площадку за околицей, где земля была твёрдой как камень. Выстроили несколько цепов. Цепы — это палки с подвешенными на ремнях короткими дубками; когда бьёшь, дубок ложится плашмя и выколачивает зерно, не ломая его. Мужики работали по очереди, сменяя друг друга каждый час — ритм задавал старик с гнилым зубом, он же отсчитывал удары шёпотом: «Раз — два — три, выбивай, не смотри». Женщины тут же веяли зерно — подбрасывали лопатами, ветер относил половицу в сторону, в низкое небо, и она летела золотым облаком, садилась на волосы, на плечи, на выстиранные рубахи. В воздухе стояла мелкая пыль — от неё першило в горле и хотелось чихать, но никто не чихал: не до того.

— Сейчас у нас каждая семья своё охраняет, — объяснял

Жак, показывая амбары, где возами ссыпали зерно. Амбары были новые, сбитые наспех, но крепкие: Жак знал, как класть угол, как выводить замок, чтобы мышь не пролезла. — А потом сообща решим, сколько продать, сколько оставить на семена. И сколько в общинный запас — на чёрный день.

— Ты, я смотрю, хозяйственный староста, — заметила я, и в голосе моём прозвучало не только одобрение, но и лёгкое удивление. Я помнила его оборванным, злым, с ножом за голенищем. Теперь — другой человек. Или тот же, но проснувшийся.

— Жизнь научила, — усмехнулся он, и усмешка вышла не горькой, а скорее усталой. — В городе, среди нищеты, всякое пришлось пережить. Когда спишь в подвале с крысами, утром идешь искать работу, которая заплатит хоть на хлеб... Там либо сломаешься, либо научишься считать каждую копейку. Я научился.

Я вспомнила его рассказы о столице, о ночлежках, о том, как они работали за кусок хлеба — он и его люди, те, кто потом последовал за мной в эту глушь. Теперь они, которых король отправил на землю, держались за неё зубами, и она отвечала им щедростью. В этом была своя справедливость, простая и жестокая: земля не любит ленивых, но помнит тех, кто положил на неё жизнь.

В Иногородней деревне, ближней к усадьбе, тоже кипела работа. Там бабы выкапывали картофель — кто лопатами,

а кто и вручную, потому что лопата режет клубни, а рука чувствует. Женщины копали, низко нагибаясь, и спина у них потом ныла до полуночи. Дети таскали вёдра — по два, по три, пока ручки не оттягивало до красноты. Старики сортировали клубни на завалинке: крупные, ровные — на еду и на продажу; мелкие, с червоточиной — на семена, не глядя, потому что любой картофель даст росток, если земля примет. Пальцы у стариков были скрюченные, в чёрных трещинах, но работали они быстро, без остановки, и всё время переговаривались — о погоде, о ценах, о том, что осень будет долгая и холодная.

— Урожай знатный, — похвасталась Марта, когда я подошла поближе. Она выпрямилась, откинула со лба прядь — мокрую, прилипшую. — Даже лучше, чем до разорения.

В её голосе прозвучала такая твёрдая уверенность, что я невольно улыбнулась. До разорения — это когда владелец был старый, а земля ещё помнила дедовские руки. А потом пришли чужие люди, сожгли, угнали скот, вытоптали поля. Два года земля лежала порожняя, зарастала чертополохом и лебедой. И вот теперь — снова родит.

— Потому что земля по земле соскучилась, — улыбнулась я, вспомнив слова Матиаса, и в этой улыбке была и грусть, и благодарность.

Вечерами, когда спадала жара — солнце уходило за горизонт медленно, нехотя, будто не желало расставаться с тёплыми полями, — женщины садились за общую работу. Оби-

рали капустные листья — верхние, зелёные, которые не идут в квашение, а годятся только для корма скотине. Резали лук для сушки — кольцами, тонко, почти прозрачно, раскладывали на чистых мешках. Перебирали яблоки — антоновку, сладкую и терпкую, с бочком, тронутым коричневой сеткой. Вокруг визжали дети, играли в лапту или просто бегали по кругу, пока взрослые не начинали на них шикать. Мычали коровы, которых только что подоили — парное молоко ещё стояло в крынках на столе, и сверху на нём собирались жирные жёлтые сливки. Блеяли овцы — их загоняли на ночь в плетнёвые закуты, чтобы не уташил волк. Воздух пах хлебом — только что испечённым, с хрустящей коркой, — сеном, уложенным в стога, и парным молоком. Этот запах был таким плотным, что его можно было потрогать рукой.

Матиас часто сидел со мной в беседке — старой, покосившейся, увитой диким виноградом, который уже начинал краснеть. Он смотрел на закат, и я видела, как на его лице сменяются тени. Посох стоял прислонённый к столбу, между нами.

— Ты чувствуешь, — сказал он однажды, и голос его был тише обычного, будто он боялся нарушить вечерний покой, — как земля благодарит? Она отдала всё, что у неё просили, и даже больше. Смотри, — он указал посохом на край поля, где заходящее солнце подсвечивало стерню золотым, — она не жалеет. Не торгуется. Просто даёт.

— Я чувствую, — ответила я, и в горле вдруг защемило. —

Но мне нелегко. Кажется, будто взяла займы. Теперь буду должна до следующего года.

Я провела рукой по деревянному подлокотнику — шершавому, с занозами. Мысль о долге не отпускала меня уже несколько дней. Земля дала, а что я дала ей взамен? Полдня на меже, несколько слов благодарности — мало. Очень мало.

— Не должна, — покачал головой он. В его голосе не было назидания, только терпеливое, много раз пережитое знание. — Это не долг, Анна. Это круговорот. Ты дала земле заботу — она ответила урожаем. Ты дашь отдых — она ответит новыми силами. Мы не берём займы. Мы дышим в такт.

Он замолчал, и я услышала, как в траве застрекотал кузнечик — один, потом второй, третий. Потом к ним присоединились лягушки из ближнего пруда. Получился нестройный, но живой хор, который, казалось, подтверждал слова Матисаса. Вдох — выдох. Земля — мы. Никто никому не должен.

Вернувшись в усадьбу, я записывала в толстую тетрадь — в кожаном переплёте, с засаленными углами — сколько собрали, сколько вывезли в город на продажу, сколько оставили на пропитание. Цифры радовали. Я пересчитывала каждый мешок, каждую бочку, каждую связку сушёных трав. Хватит и на еду, и на семена, и останется на непредвиденные расходы — на случай, если умрёт лошадь или сгорит сарай. А если прибавить к этому доход от продажи излишков... Я отложила перо и посмотрела в окно. Там, за стеклом, смеркалось, и кто-то из дворовых зажёл фонарь на шесте.

— Жить будем! — сказала Жанна, когда я зачитала итоги за ужином. Она сказала это просто, будто констатировала факт, но я заметила, как её глаза блеснули.

— Жить будем, — повторила Астер, и в её голосе прозвучало облегчение.

Она сидела с краю, прямая, как свеча, и только сейчас я увидела, как она устала: под глазами залегли тени, на скулах выступил румянец от долгой работы на солнце.

А я сидела во главе стола — длинного, грубо сколоченного, который помнил ещё прежних хозяев, — смотрела на своих людей. Уставших. Перемазанных землёй так, что она въелась под ногти и в складки ладоней. Молчаливых — потому что силы кончились на слова. Но счастливых — той тихой, глубокой радостью, какая бывает только после большого общего дела. И чувствовала, что дом мой действительно ожил. Настоящей жизнью, где каждый гвоздь, каждая доска, каждый сноп были частью общего дела. Не просто имение, не просто кров над головой, а живой организм, который дышит, ест, работает и радуется.

После ужина Жанна позвала меня в кладовую показать запасы. Мы спустились по каменным ступеням — ступени были скользкими от сырости, и я держалась за стену, шершавую, с выступающими кирпичами. Жанна зажгла фонарь — небольшой, жестяной, с мутным стеклом. Огонь метнулся, выхватил из темноты бочки, кадки, глиняные кувшины, подвешенные к потолку связки лука и чеснока.

— Огурчики солёные. — Она провела ладонью по крышке одной бочки, как по голове ребёнка. — С укропом, с хреном, с вишнёвым листом. Капуста квашеная. Первый сорт — с клюквой, кисленькая будет. Второй — с морковью, послаще. Помидоры в собственном соку — откроешь зимой, и пахнет, как летом. Яблоки мочёные — особый рецепт, мамин. В рассоле с мятой и горчичным зерном.

Она говорила, а я смотрела на эти ряды, и у меня перехватывало дыхание. Не от количества — от любви, которая в каждую банку, в каждый бочонок была вложена. Жанна работала с утра до ночи, не жалея себя, и ни разу не пожаловалась.

— Ты чудо, Жанна, — сказала я, и голос мой дрогнул. — Без тебя мы бы пропали. Я серьёзно.

— Пропали? — засмеялась она, но смех вышел добрым, без насмешки. — Да вы, госпожа, свою магию вспомнили бы и сами бы всё сделали. Я так, приложение. Трава при корне, — она поправила платок, который сполз на глаза.

Я не стала спорить. Магия — магией, а солёные огурцы руками делаются. И эти руки, грубые, с распухшими суставами, были главным чудом этой кладовой.

Вернувшись в свою комнату, я долго не могла уснуть. Лежала на спине, глядя в потолок — там, в тусклом свете луны, проступали трещины, похожие на карту неведомой страны. За окном почти не стихали голоса. Кто-то прошёл к колодцу — я услышала скрип ворота и плеск воды. Кто-то звал

кого-то — негромко, ласково, по-домашнему. Смеялись девушки — звонко, потом тише, и один смех я узнала Агнесин. Все эти звуки сливались в один — живой, тёплый, уютный. Дом дышал.

Вильгельм не пришёл — видимо, не хотел мешать. Или просто наслаждался суетой, которую так долго ждал.

Амулет на груди грел — ровно, спокойно, как печь в зимний вечер. Я взяла его в ладонь, почувствовала гладкий камень, чуть тёплый от тела. Он убаюкивал, обещал защиту и покой.

Лето кончалось. Урожай был собран. Мы выжили.

Я закрыла глаза и провалилась в сон без сновидений — глубокий, чёрный, какой бывает только у тех, кто весь день провёл на ногах, на ветру, на солнце. У тех, кто сделал дело.

## Глава 2

Последний день лета выдался тёплым и тихим — тем особенным теплом, которое уже не обещает продолжения, но щедро дарит себя напоследок, как странник, отдающий последние монеты перед долгой дорогой. Солнце светило, но уже не жгло: оно грело по-осеннему ласково, и в этом свете не было июльской ярости, а была добрая, чуть грустная забота. Воздух сделался прозрачным, как колодезная вода, — если смотреть через него на дальний лес, казалось, что каждое дерево стоит отдельно, ни с чем не сливаясь, и видно даже осиную дрожь на самых дальних листьях. Я сидела в беседке с книгой — старой, в потрёпанном кожаном переплёте, — но читалось плохо. Мысли то и дело улетали в поле, в амбары, в кладовые, где тесными рядами стояли бочки и кадки, полные летней силы, запертой в соли и рассоле. Я перелистнула страницу, не запомнив ни слова, и в этот момент услышала стук колёс — глухой, неровный, какой бывает у телег, проехавших много вёрст по разбитой дороге.

— Госпожа! — Астер прибежала запыхавшись, и её лицо, покрасневшее от быстрого бега, выражало не испуг, а скорее растерянность пополам с любопытством. — Там телеги, две, у ворот! Люди слезли, стоят. Молчат. Только дети плачут.

Я отложила книгу — она закрылась сама, закладка выпала

на доски стола, — и пошла встречать. Сердце ёкнуло: опять кто-то пришёл за помощью. Или за правдой. Или просто затем, что больше некуда. Я поправила волосы, одёрнула платье — жест старый, почти забытый, из той жизни, где встречали гостей с поклонами, а не с вопросом «кто вы и откуда».

У ворот действительно стояли две телеги, доверху набитые узлами и детьми. Узлы были неказистые — тряпки, одеяла, подушки, выглядывающие углы сковород. Сквозь эту поклажу я увидела перепачканные лица, босые ноги, прижатые к груди куклы и деревянные лошадки. Лошади, впряжённые в телеги, были худые — рёбра так и проступали под тонкой шкурой, — в мыле, хотя день стоял нежаркий: животные явно сделали за последние часы длинный рывок, будто чуяли близкое спасение. Взрослые — трое мужчин, три женщины, и четверо детей — выглядели уставшими той особенной усталостью, которая бывает не от одного перехода, а от многих дней, когда спишь на земле, ешь сухой хлеб и не знаешь, где проснёшься завтра. И всё же одежда на них была потрёпанная, но не грязная, чистая — значит, люди не нищие с большой дороги, не привыкшие к побирательству. С ними случилась беда, и они несли её в себе, как тяжесть, которую не на кого переложить.

Передний мужчина — высокий, с рыжими усами, что огненными кольцами спадали на губу, — поклонился. Низко, в пояс, так кланяются не господину, а спасителю. Я почувствовала неловкость, но промолчала.

— Леди Анна? — спросил он, поднимая голову, и я увидела глаза — усталые, потрескавшиеся губы, но взгляд прямой. — Наслышаны о вашей доброте. Мы из Эрфурта, это три дня езды отсюда. В городе пожар — целый квартал выгорел. Говорят, молния ударила в колокольню, а ветер в ту ночь был сильный, южный. За час полдеревни занялось. Мы, кто успел, выскочили в чём были. Кто выскочил — те и живы. А кто спал... — Он замолчал, сглотнул. — Ехали, куда глаза глядят. Услышали от встречных, что вы привечаете людей и землю даёте. Не прогоните?

Пока он говорил, я осмотрела их. Мужчины — крепкие, рабочие, с широкими ладонями, привыкшими не к перу, а к топору и плугу. Женщины — с мозолистыми руками, одна держала на руках младенца, укутанного в клетчатое одеяло. Дети — чумазные, щёки в копоти или в дорожной пыли, но глаза живые, светлые — с надеждой. Не с отчаянием, а именно с надеждой. Это меня и тронуло больше всего. Отчаявшиеся люди не выдерживают три дня в телеге — они ложатся и ждут смерти. А эти — ехали, искали, верили.

— Как вас зовут? — спросила я у рыжего, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без лишней жалости. Жалость им сейчас была не нужна — нужна была земля и крыша.

— Бернар, леди. А это мой брат, Жиль, и свояк, Маттьё. Жёны наши — Элоиза, Марго и Жанна. Детишки: Луи, Адель, Клеман и Софи. — Он перечислил имена с какой-то особенной бережностью, будто каждое имя стоило веса зо-

лотого слитка.

Я кивнула, повторила про себя: ещё одна Жанна на кухне. Две Жанны — это уже судьба. Или знак.

— Заезжайте, — сказала я, и в голосе моём прозвучало больше уверенности, чем я чувствовала на самом деле. — Астер, помоги слезть. Жанна, накормить. — Я улыбнулась про себя — ещё одна Жанна на кухне, пусть приживается. — Комнаты в доме для пришлых есть, там тепло и сухо.

— Спасибо, леди, — Бернар снова поклонился, и за ним, как по команде, поклонились все остальные — даже малый Луи, который не понял, что происходит, но старательно сложил ладошки и наклонил голову.

Их разместили в доме для пришлых — длинном бревенчатом строении за конюшней, где ещё оставались свободные комнаты. Окна выходили на юг, и солнце в них заглядывало до самого вечера; на подоконниках стояли сухие травы для запаха — лаванда, мята, зверобой. Я зашла следом, проверила: печи натоплены, на нарах лежат чистые тюфяки, набитые соломой, в углу кувшин с водой и ковш. Мелочи, но человеку, который три дня спал под телегой, мелочи кажутся дворцовой роскошью.

Жанна — наша, усадебная — быстро накрыла на стол во дворе, под навесом: каша пшённая с тыквой, хлеб вчерашней выпечки, молоко парное — Астер только что подоила корову. Гости набросились на еду, но вели себя прилично, не хватали из-за плеча, не толкались. Ели степенно, только

уж очень быстро — торопливость выдавала голод, которому много дней. Женщина с младенцем отставила плошку с кашей, сначала покормила грудью, а потом уже принялась за свою порцию. Мальчик Клеман — лет пяти, с белыми, выгоревшими на солнце волосами — съел свою кашу, посмотрел на пустое дно и заплакал. Я взяла половник, добавила ему ещё.

— Откуда вы говорите, ехали? — спросил Матиас, пришедший из любопытства или по привычке присматривать за каждым новым лицом, появлявшимся в усадьбе. Он стоял чуть поодаль, опираясь на посох, и в глазах его была та тихая настороженность, какую я замечала у деревенских колдунов, когда они решали, стоит ли доверять пришлому.

— Из Эрфурта, — повторил Бернар, вытирая усы тыльной стороной ладони. — Бедовый город, а теперь и вовсе пепелище. Весь квартал кожевников сгорел, а с ним и лавки, и склады. — Он помолчал, отхлебнул молока. — Там и наши дома были. Мы сапожничали.

— И никто не помог? — Матиас наклонил голову, и в его голосе послышалось не праздное любопытство, а врачебное желание понять: зажила ли рана или ещё кровоточит?

— Помогали, кто чем мог, — Бернар пожал широкими плечами, и я заметила, как ходит под рубахой живая кость — не жир, не лень, а работа и скудная еда. — Кто одеялом, кто горстью крупы. Но нас много, а места мало. Вокруг города земля вся поделена, ни встать, ни сесть. Вот и решили

податься сюда, потому что слышали про вас. — Он посмотрел на меня в упор. — Сказывают, вы землю даёте тем, кто хочет работать. И не гоните.

Я промолчала. Что тут скажешь? Да, даю. Да, не гоню. А что ещё можно делать с землёй, которая лежит пустая, и с людьми, которые могут её поднять?

Через два дня — не раньше и не позже, только когда отдохнули лошади и женщины выстирали дорожные рубахи в пруду, а дети перестали вздрагивать от каждого громкого звука, — они уехали в дальнюю деревню. Туда, где земля ждала рук уже третий год, и плуг ржавел в сарае, забытый последними хозяевами. Я сама выбрала для них надел — под небольшим леском, с ручьём, недалеко от других переселенцев. Не одни, не брошенные.

Телеги были легче, чем при первом появлении, — часть вещей оставили на хранение в усадьбе: глиняные горшки, подушки, зимнюю одежду, которую незачем было возить по жаре. Обещали вернуться за ними, когда обустроятся. Бернар поцеловал мне руку — я не успела отдёргнуть, — и в его усах блеснула слеза. Мужчины не плачут, а у него блестело, и я сделала вид, что это просто пот или капля утренней росы.

Я смотрела вслед, пока телеги не скрылись за лесом. Долго смотрела. Пыль от колёс осела на траву, потом поднялась и рассеялась. В небе кружил ястреб — долго, широко, выписывая круги, и мне показалось, что он тоже провожает.

— Ещё одни, — сказала Жанна, вытирая руки о фартук.

Она стояла рядом — плотная, коренастая, вечная, как печь на кухне. И в голосе её не было ни горечи, ни усталости, только простая констатация.

— Да, — согласилась я, и ветер донёс запах с полей — сухой, горьковатый, последний.

— Не бойтесь, что не прокормите всех? — спросила она, и я услышала в её вопросе не сомнение, а скорее, проверку: тверда ли моя рука, не задрожит ли перед первой же трудностью.

— Земля большая, — ответила я, глядя на край леса, где солнце уже начинало золотить верхушки сосен. — Прокормим. Если будем работать — прокормим.

Ночью я долго не спала. Лежала на спине, глядя в потолок, где по старой привычке всё ещё не было звёзд — только трещины, похожие на высохшие реки. Я думала о лете, которое закончилось сегодня, с последним солнечным лучом. О хлебе, который собрали — и как пахнет в амбаре свежая рожь, густо, хмельно, так, что голова кружится. О свадьбах, которые сыграли в августе — две, в разных деревнях, и я держала венки над головами молодых, и Матиас шептал слова, старые как сама земля. О новых людях, которые придут — непременно придут, — потому что молва о земле и хлебе разлетается быстрее ветра. И о тех, кто уже пришёл: о Бернаре с семьёй, о девяти душах, которые теперь будут сеять и жать, рожать детей и умирать на этой земле. На моей земле.

За окном заухала сова — три раза, мерно. Амулет на груди

нагрелся, и я положила на него ладонь, чувствуя тепло, похожее на чужое дыхание. Лето кончилось. Но что-то новое, тяжёлое и глубокое, как осенняя пахота, только начиналось.

Я закрыла глаза и улыбнулась в темноту. Прокормим. Земля большая, а руки у нас есть.

На следующее утро, едва рассвело, я позвала Матиаса. Небо только начинало сереть над лесом — тот особый час, когда звёзды уже погасли, а солнце ещё не взошло, и всё вокруг кажется вылепленным из сырой глины. Я не спала почти всю ночь: перед глазами стояли лица погорельцев, руки, которые дрожали над пустыми мисками, и взгляд Бернара — прямой, не просящий, но такой тяжёлый, что его можно было взвесить на ладони. Я понимала, что одной земли и крыши над головой мало. Им нужно было чем-то пережить первую зиму — едой, тёплыми вещами, инструментами, чтобы построить заново. Моих запасов не хватило бы на всех, но у меня был отец.

— Мне нужно послать вестника герцогу, — сказала я Матиасу. Голос прозвучал хрипло — со сна, с волнения. — Можете?

Матиас кивнул, и в этом кивке не было ни удивления, ни лишних вопросов. Он молча достал из сумки — старой, кожаной, перетянутой медными ремнями — небольшой хрустальный шар. Не такой, как у Амирана: тот, отцовский, был с кулак величиной, тяжёлый, с мутными прожилками. Этот — поменьше, с крупное яблоко, но тоже работающий. Я ви-

дела, как в его глубине перекачивается тусклый свет — будто внутри заперли маленькую утреннюю звезду. Матиас держал шар бережно, как яйцо, и я заметила, что его пальцы, всегда такие уверенные, сейчас чуть дрожат — сосредоточенность или дань уважения силе, заключённой в прозрачной оболочке.

— Говорите, леди, — сказал он, протягивая шар.

Ладони его были сухими и тёплыми, и, когда шар перешёл в мои руки, я ощутила под пальцами лёгкую вибрацию — не холод, не жар, а что-то среднее, как живое дыхание спящего зверька.

Я взяла его в ладони, сомкнула пальцы. Сосредоточилась. Мысль об отце пришла не сразу — она прокладывала себе путь сквозь утреннюю сонливость, сквозь шорох травы за окном и далёкий крик петуха. Но когда я наконец поймала её, шар нагрелся. Сначала чуть-чуть, потом сильнее, так, что ладони стало горячо, но я не отдёрнула — так и держала. Внутри за клубился туман — белый, плотный, он сворачивался в спирали, распадался и снова собирался. Я видела, как в этом тумане мелькают искры — крошечные, золотистые, похожие на пыльцу.

— Отец, — сказала я в него, и мой голос прозвучал странно — не из горла, а откуда-то из груди, будто сам шар заговорил. — Вчера к нам приехали люди из Эрфурта. Погорельцы, десять человек. Им нужна помощь. Одежда, инструменты, еда на первое время. Ты можешь что-то прислать? Анна.

Слова легли в туман, и он на мгновение замер — будто вслушивался. Потом шар вспыхнул — ярко, бело-голубым светом, который заставил меня зажмуриться. Когда я открыла глаза, внутри было тихо и прозрачно, как в застывшем пруду. Только на дне тлела оранжевая точка, медленно угасая.

— Готово, — сказал Матиас. — Теперь ждите ответа.

Он убрал шар в сумку, затянул ремни и отошёл к окну. Я смотрела на его спину — широкою, сутулою — и думала о том, сколько же таких посланий прошло через его руки. Чьи голоса звучали в этом шаре, чьи слёзы, чьи надежды и страхи спрессовались в туманные спирали? Матиас никогда не рассказывал.

Ответ пришёл через два часа. Я сидела в гостиной, перебирала сушёные травы для чая — мяту, зверобой, липовый цвет, — и вдруг воздух передо мной колыхнулся. Золотистый вестник — маленький, размером со шмеля, но светящийся ровным тёплым светом — опустился прямо ко мне на ладонь. Я чувствовала его тяжесть — крошечную, но ощутимую, — и тепло, которое разливалось по запястью. Вестник раскрылся, и голос Амирана — бодрый, деловой, без всякой утренней хрипоты — разнёсся по гостиной так громко, что, наверное, было слышно на кухне:

— Анна, дочка. Завтра с утра отправлю портал. Всё, что нужно — одеяла, простыни, инструменты (топоры, пилы, молотки), еда на месяц. И немного ткани — пусть женщины

сошьют себе одежду. Ты молодец, что помогаешь.

Вестник погас, истончился в воздухе, оставив на моей ладони едва уловимое тепло — как после пожатия. Я улыбнулась. Отец не умел быть долгим в письмах — ни в бумажных, ни в магических. Сказал дело, и хватит. Но я знала, что за этими короткими фразами — бессонная ночь, расчёты, приказы управляющим. Он не бросит. Никогда не бросал.

На следующее утро портал открылся ровно в восемь. Я специально вышла на крыльцо загодя, в четверть восьмого, и стояла, глядя на то место перед конюшней, где Матиас нарисовал мелом круг. Утро было прохладным, на траве лежала роса — последняя, осенняя, с мелкими пузырьками, похожими на застывшие вздохи. Матиас стоял в центре круга, раскинув руки, и я слышала, как он бормочет — не слова, не заклинания, а что-то похожее на скрип старого дерева или шум дальнего водопада. Воздух сгустился, пошёл рябью, и в этой ряби проступила вертикальная щель — тонкая, как лезвие ножа, но пульсирующая. Щель разошлась со звуком рвущейся ткани — громким, резким.

Из портала выгрузили тюки и коробки. Не просто выбросили — они выплывали сами, мягко опускаясь на траву, будто невидимые руки бережно ставили их одну за другой. Я насчитала двенадцать мест: четыре тюка, перевязанных верёвками, семь деревянных ящиков с железными уголками и один короб, оклеенный тёмной тканью. Астер и Ольнара — я позвала их заранее — пересчитывали, записывали в тетрадь,

и перья их скрипели, попевая за мельканием рук.

— Одеял десять штук, простыней двадцать, — докладывала Астер. Она разворачивала край одного тюка, и я увидела шерстяные одеяла — толстые, с тёмно-синей каймой, явно не из дешёвых. — Инструменты: топоры три, пилы две, молотки четыре, гвозди мешок. — Она заглянула в ящик, и в утреннем свете блеснули железные головки. — Еда: мука, крупа, сало, сушёное мясо, соль, сахар.

— И ткань! — добавила Ольнара, распутывая верёвки на последнем тюке. Она развернула рулоны серого и коричневого льна — плотного, добротного, такого, из которого шьют на вырост, чтобы носилось годами. Лён пах свежестью и чуть отдавал деревянным маслом. — На рубахи и юбки. И ещё вот, — она вытащила из того же тюка моток красной нити — яркой, праздничной, — и я поняла: отец добавил для украшения. Мелочь, а сердце защемило.

— Герцог не подвёл, — сказала Жанна, заглядывая в коробки. Она пришла с кухни, вытирая руки о фартук, и теперь стояла, уперев кулаки в бока, и в её глазах я прочитала не только удовлетворение, но и лёгкое удивление: она привыкла рассчитывать на себя, а тут — такая помощь, сразу, без проволочек. — Этим людям повезло, что вы есть, госпожа.

— Не мне спасибо, — ответила я, глядя на гору вещей. В горле стоял ком — то ли от утренней прохлады, то ли от чего-то другого, что я не хотела разбирать. — Ему.

Я подумала об отце, который сейчас, наверное, пьёт свой

утренний чай в столице, в кабинете с высокими окнами, и уже забыл об этом портале — столько у него дел. Но вещи — вот они, лежат на траве, пахнут чужим складом и дальней дорогой. Так отец умел любить — не словами, не объятиями, а делом. В этом мы с ним были похожи.

Погорельцев позвали из дома для пришлых. Бернар, глава семьи, пришёл первым — за ним остальные, тихие, ещё не проснувшиеся толком дети, женщины с узелками. Увидев груды вещей — тюки, ящики, рулоны ткани, — он остановился как вкопанный. Рыжие усы его дрогнули, лицо пошло красными пятнами, и он медленно, будто под тяжестью невидимого груза, опустился на колени прямо в мокрую от росы траву.

— Леди Анна... — голос его сорвался, стал тонким, почти детским. — Мы не заслужили...

— Встаньте, — я подошла и взяла его за локоть. Локоть был твёрдым, костистым, и я чувствовала, как под кожей ходит жила — часто, нервно. — Вы люди, которые попали в беду. Помогать — мой долг. И долг герцога.

Я сказала это твёрдо, хотя внутри у самой всё дрожало. Бернар поднялся, но не сразу — он ещё секунду стоял на колене, глядя на меня снизу вверх, и в этом взгляде было что-то древнее: человек смотрит на того, кто вернул ему надежду, и не находит слов.

— Я отработаю, — сказал он наконец, и голос его окреп. — Мы все отработаем. Хоть до конца жизни. — Он обвёл

рукой своих — брата, свояка, женщин, детей, которые жалась к материнским юбкам. — Наши руки при вас, леди. Наши спины. Мы не привыкли даром есть.

— Живите, — ответила я и почувствовала, как амулет на груди теплеет — одобряет, что ли? — Работайте. И будете сыты.

Инструменты и еду они погрузили на свои телеги — те самые, что привезли их сюда, теперь уже не пустые, а полные. Обещали к вечеру добраться до деревни: дорога была знакомая, и лошади отдохнули за эти дни. Одеяла и ткань забрали с собой — там, в пустых домах, где окна затянуты паутиной, а печи не топились с прошлого года, это было нужнее, чем здесь. Я видела, как женщины бережно перекладывают свёртки, как дети трогают рулоны льна — гладкие, шершавые, — и улыбаются.

— Мы не подведём, — сказал на прощанье Бернар. Он стоял уже на первой телеге, держа вожжи, и солнце светило ему в спину, делая рыжие усы совсем огненными. — Клянусь Четырьмя Ветрами.

Это была старая клятва, та, что помнила ещё дедов, когда ветры считались богами. Я кивнула, принимая клятву.

— Я верю, — ответила я.

Телеги тронулись, сначала медленно — колёса вязли в утренней траве, — потом быстрее. Я слышала скрип, лошадиное фырканье, и голос маленькой Софи, которая вдруг запела — не слова, а просто тянула ноту, высокую и чистую,

как родниковая струя. Они уехали — в новую жизнь, в новые дома, на новую землю. А я стояла на крыльце и смотрела вслед, пока телеги не скрылись за поворотом у старого дуба. Амулет под рубахой грел — ровно, спокойно, — и на душе было тепло, несмотря на прохладный утренний ветер, который уже тянул с севера, обещая скорую осень.

— Ты делаешь доброе дело, — сказал Вильгельм, появляясь за спиной.

— Они нуждаются, — ответила я, возвращая взгляд на дорогу, где уже только пыль напоминала об уехавших. — А у меня есть возможность помочь. И у отца.

— Потому ты и Хранительница, — усмехнулся он, и в усмешке этой не было насмешки — только тёплая, чуть грустная гордость. — Не только землю хранишь, но и людей. Земля без людей — просто земля. А с ними — дом.

Я не ответила. Ветер трепал волосы, и я вдохнула полной грудью: пахло осенью — прелыми листьями, мокрой корой, — и дымом. Кто-то топил печь в доме для пришлых — наверное, решили протопить перед тем, как законсервировать до следующей весны. Скоро похолодает: ночи уже стали зябкими, и по утрам на лужах появляется тонкий ледок, который тает к полудню. Но у новых людей есть одеяла, тёплые вещи и крыша над головой. И земля, которая примет их, если будут работать.

— Всё будет хорошо, — прошептала я.

Не утверждение — скорее просьба. К кому? К ветру, к

небу, к амулету на груди. Не знаю. Но сказала — и стало легче.

Я повернулась и пошла в дом. Там, в гостиной, на столе уже дымился чайник, и Жанна — наша, усадебная, — нарезала хлеб и достала из кладовой банку с вареньем, которое сварила вчера. Я села к столу, отхлебнула горячего чаю с мятой, и сладкое варенье растаяло на языке — лето, которое уходило, но оставляло свой вкус в каждой банке, в каждом зерне, в каждом сердце.

## Глава 3

Ночью ко мне снова пришёл сон. Не тот, где я стояла на холме и защищала землю — с ветром в волосах и магией, текущей по жилам, горячей и послушной. Другой — странный, щемящий, оставивший после себя чувство потери, будто у меня забрали что-то, о чём я и не знала, пока не потеряла.

Я сидела в своей земной квартире — той самой, однушке с ипотекой, которую брала на двадцать лет. Ипотека висела на мне тяжестью, которую я уже почти перестала замечать, как хроническую боль в пояснице. Всё было на месте: старенький диван, продавленный с одной стороны, где я обычно сидела с ноутбуком; телевизор на тумбочке — плоский, но уже немодный, с царапиной на рамке; книги на полках — детективы, фэнтези, пара томиков Чехова, которые я так и не дочитала. Свет в комнате был не солнечный, а какой-то ровный, ламповый — тот, который бывает в хорошую погоду, когда шторы раздвинуты, но солнце не бьёт прямо в глаза.

Кузя, рыжий кот, спал на подоконнике, свернувшись клубком, и его бок мерно поднимался и опускался. Я знала каждую рыжинку на его шерсти, каждый белый носочек на лапе. Он был моим утешением в долгие вечера, когда работа высасывала все силы. Теперь он спал, не ведая, что его хозяйка — не совсем та, кем была.

Но что-то изменилось. Я не сразу поняла — что. А потом

заметила: на столе стояли цветы в вазе. Свежие, полевые — ромашки, васильки, колокольчики. Их букет пах по-летнему сладко и чуть горьковато, и я замерла, потому что никогда не покупала себе цветов. Никогда. В моей прошлой жизни на это не было ни денег, ни привычки, ни того, кто подарил бы. На кухне пахло пирогом — тёплым, ванильным, сдобным, от которого у меня всегда текли слюнки, но я никогда не умела так печь. И в воздухе витало что-то неуловимо другое — тепло, уют, спокойствие. То, чего в моей квартире всегда не хватало, хотя все вещи были на месте.

Я огляделась ещё раз. На журнальном столике лежала вязаная салфетка — кремовая, ажурная. Я не вязала. На вешалке у двери висело мужское пальто — тёмно-синее, не моё. На полке с книгами появилось несколько новых корешков — по кулинарии, с яркими картинками.

Из кухни вышла она.

Анна. Та самая Анна, чьё тело я теперь носила в этом мире — сильное, молодое, с ладонями, привыкшими к магии и к лопате. Мои черты лица — те же скулы, тот же разрез глаз, тот же изгиб бровей. Моя фигура, мои волосы — русые, длинные, которые я когда-то постоянно собирала в хвост, чтобы не мешались. Но взгляд — другой. Мягче, спокойнее, без той вечной усталости, что была у меня. В этом взгляде не было темноты под глазами от недосыпа, не было налёта выжженности, который я носила после столичной работы. Был покой.

На ней был простой домашний халат — синий, в мелкий цветочек, волосы убраны в пучок на затылке, из которого выбилося несколько прядей. И живот — округлый, заметный, явно беременна уже месяцев шесть. Она вошла, и я услышала, как она дышит — чуть тяжело, как дышат женщины на поздних сроках, когда каждый шаг даётся с трудом, но это не тягость, а счастье.

— Ты? — прошептала я. Голос мой прозвучал глухо, будто я говорила сквозь толстый слой ваты.

— Я, — улыбнулась она, и улыбка её была такой тёплой, такой домашней, что у меня защемило под ложечкой. — Пришла посмотреть на тебя. Или ты — на меня.

Она села в кресло напротив, и я заметила, как она осторожно устроила живот, положила на него руки — привычным жестом, который успел стать родным.

— Как ты здесь оказалась?

— Так же, как ты — там, — она провела ладонью по округлости, и под тканью халата что-то шевельнулось — маленькая жизнь. — Мы поменялись местами. Помнишь?

Я помнила. Тот день, когда я очнулась в карете — от тряски, от запаха сена, от чужого платья на своём теле. И она тогда очнулась здесь. В моём теле. В моей жизни. В моей однушке с ипотекой, в моём нелюбимом офисе, в моих долгах и моём одиночестве. Я думала об этом иногда, но не позволяла себе представлять подробности — боялась, что позавидую или, наоборот, ужаснусь.

— Ты вышла замуж? — спросила я, глядя на кольцо на её пальце — простое, серебряное, без камней, но такое правильное на своей руке.

— Да, — она улыбнулась шире, и в её глазах зажглись искорки — я таких у себя никогда не видела. — За соседом с лестничной площадки. Ты его, наверное, не помнишь — он всё время в футболке ходил, тренированный такой. Мы встретились в лифте через неделю после... ну, после того дня. Он принёс пирожные. Сказал, что заметил, какая я грустная, и решил подбодрить.

Я напрягла память. Смутно — парень, который иногда здоровался в лифте. Широкие плечи, тёмные волосы, всегда с наушниками. Я даже имени его не знала. А теперь он — муж. Отец будущего ребёнка.

— И ты... беременна?

— Да, — она положила обе руки на живот — нежно, бережно, как драгоценность. — Девочка. Назовём Аней. В честь тебя — и меня. Так совпало, что имя у нас одно.

В её голосе не было ни капли горечи. Она говорила об этом просто, радостно, как о самом естественном деле в мире. А у меня вдруг перехватило горло. У меня не было детей. Я даже не думала о них — сначала учёба, потом работа, потом ипотека, и всё как-то не до того. А теперь, в этом мире, детей тоже не было. И мужа. И даже надежды на скорое замужество — потому что кто женится на Хранительнице, которая пашет землю и командует мужиками?

— Ты счастлива? — вопрос вырвался сам собой, и я тут же пожалела о нём. Что она ответит? Что да, счастлива, а я — нет? Что она получила мою жизнь и сделала её лучше, а я получила её жизнь и только устаю?

Она посмотрела на меня долгим взглядом. В этом взгляде не было торжества, не было сравнения. Была только правда.

— Счастлива, — сказала она твёрдо. — Он хороший муж, заботливый. Работает водителем автобуса — знаешь, маршрут номер семь, который идёт через весь город. Встаёт в пять утра, приходит уставшим, но всегда меня обнимет и спросит, как день прошёл. Я ушла с твоей работы — не могла больше сидеть в офисе. Эти бесконечные отчёты, начальник, который повышает голос, коллеги, которые плетут интриги... Не моё. Открыла маленькую пекарню при доме. Помещение сняла, оформила всё. Пеку пироги и торты на заказ. Соседи любят. Особенно мой вишнёвый пирог с творогом.

— Ты печёшь? — я удивилась, и в голосе моём прозвучала не только неожиданность, но и какая-то странная зависть. — Я никогда не умела. Я даже хлеб в хлебопечке не могла нормально испечь — вечно пригорал или оседал.

— Ты — нет. А я умею, — она усмехнулась, и усмешка эта была не злой, а скорее снисходительной — как у старшей сестры к младшей. — Здесь моя жизнь. И я её люблю. Знаешь, когда я очнулась в твоём теле, в твоей квартире — мне было страшно. Я не понимала, что такое кран с горячей водой, как пользоваться телефоном, зачем эти пластико-

вые карточки. А теперь — привыкла. Даже полюбила. Здесь удобно. Здесь тепло. Здесь никто не воюет, не жжёт дома, не убивает соседей из-за клочка земли. Здесь просто живут.

Она замолчала, и я подумала о том, чего она не сказала: о том, что у неё нет магии. Что она никогда не почувствует, как сила течёт по венам, как земля отзывается на твой зов. Но ей, кажется, это было не нужно. Ей хватало пирогов, мужа в футболке и дочки, которая скоро родится.

— А ты знаешь, что я там делаю? — спросила я, и в моём голосе прозвучала какая-то детская просьба о признании. Скажи, что я хороша. Скажи, что я справляюсь.

— Знаю, — она кивнула, и взгляд её стал серьёзнее. — Ты стала Хранительницей. Ты помогаешь людям, строишь дома, растишь хлеб. Ты делаешь то, что должна была делать я. То, для чего моё тело предназначено.

— Ты не хотела?

— Я не смогла бы, — она покачала головой, и в этом движении было столько принятия своей судьбы, что мне стало и обидно, и легче одновременно. — Я слабая. Я боюсь крови, боюсь темноты, боюсь, когда на меня кричат. Я не смогла бы командовать мужиками, не смогла бы решать чужие судьбы. А ты — сильная. Ты справляешься. Я вижу.

Она сказала это так просто, будто оценивала чужую работу на твёрдую «хорошо». А мне вдруг захотелось разреветься. Я сильная? Да я просто делаю то, что должна делать. Потому что если не я, то кто? Потому что некого позвать на

помощь. Потому что амулет сам выбрал меня. Сила — это не выбор, это бремя. Но я не стала этого говорить. Пусть она думает, что я сильная. Пусть.

Мы сидели молча. Где-то за окном шумел город — тот самый, который я когда-то считала своим. Я узнавала каждый звук: далёкий гул машин, хлопок двери подъезда, музыку из соседней квартиры — кто-то включил радио на полную громкость, и я различала знакомую песню, которую когда-то сама напевала, моя посуда на кухне. Этот шум был фоном всей моей жизни, и я не замечала его. А теперь он казался мне дорогим, как голос матери.

— Я скучаю, — сказала я тихо. Тише, чем хотела. Тише, чем следовало. — Иногда.

— По чему? — спросила она, и в её голосе я услышала не осуждение, а понимание.

— По этому миру. По его удобствам. По горячей воде из крана — ты не представляешь, как мне иногда хочется просто встать под душ, а не греть воду в котле по вёдрам. По пицце на заказ — там, где я сейчас, даже слова такого не знают. По интернету — когда можно просто взять и узнать всё, что нужно, не спрашивая Матиаса или не роюсь в пыльных книгах. Но больше — по людям. По маме. По бабушке. По тем, кто меня знал с пелёнок и любил просто так, а не за то, что я Хранительница.

— Твоя мама приходит ко мне в гости, — сказала Анна, и голос её стал мягче, почти извиняющимся. — Она прихо-

дит каждое воскресенье, печёт со мной пироги, смотрит сериалы. Она счастлива, что у меня всё хорошо. Она не знает правды.

— Лучше пусть и не знает, — я вздохнула, и этот вздох вышел глубоким, из самой груди. — Зачем ей правда? Правда причинит боль. А так — у неё есть дочь, здоровая, замужняя, беременная. С пекарней и кошкой. Что ещё матери надо?

Я представила мамино лицо — морщинки у глаз, седые пряди, которые она упорно закрашивает, руки с набухшими венами. Если бы она узнала, что настоящая я — там, в другом мире, без горячей воды и пиццы, среди магии и опасности, — она бы не пережила.

Сон начал меркнуть. Комната поплыла — сначала по краям, потом центр тоже стал размываться, как акварель под дождём. Краски поблёкли, звуки города истончились. Я поняла, что просыпаюсь, и отчаянно схватилась за подлокотник кресла — но пальцы прошли сквозь него, потому что это был только сон.

— Подожди, — крикнула я, и голос мой прозвучал отчаянно, почти зло. — Как мне быть? Я там одна. У меня нет мужа, нет детей, никого, кто бы меня пожалел, когда трудно. Только работа, земля, долги, люди, которые смотрят на меня и ждут, что я всё решу.

— Всё будет, — успела ответить она. Её голос доносился уже издалека, словно из-за толстой стены. — Твоё время

придёт. Не торопи события. Просто живи. Просто делай то, что делаешь. А остальное — придёт.

Я открыла глаза.

В комнате было темно — только луна светила в окно, бледная, холодная, как лёд на осенней луже. Луна здесь была другой — больше, ярче, и свет её казался живым, пульсирующим. Амулет на груди грел привычно, ровно, но внутри было пусто и холодно. Я лежала на спине, глядя в потолок, и слёзы текли по вискам в уши — солёные, горячие, бесполезные.

Она вышла замуж. У неё будет ребёнок. Она счастлива — в моём теле, в моей жизни, в моём мире, от которого я бежала, сама того не зная. А я здесь — одна, с кучей забот, с магией, которая иногда кажется проклятием, с землёй, которая держит крепче цепей, с людьми, которые от меня зависят. И я не могу пожаловаться, не могу уйти, не могу сказать: «Всё, устала, делайте сами». Потому что это моя судьба. Или её тело. Или просто случайность, которую никто не объяснил.

Слёзы сами потекли по щекам. Я не плакала давно — с самой той ночи, когда проснулась в карете под чужой звёздной россыпью, с чужим амулетом на груди и с чужим именем на устах. Тогда я сдерживалась, потому что рядом были люди, потому что нельзя показывать слабость, потому что я решила — буду сильной. А теперь слёзы текли сами, без спроса, и я не вытирала их, пусть смачивали подушку и затекали в уши. Плакала от тоски — по дому, которого больше не бы-

ло. От зависти — к той, другой Анне, которая получила мою жизнь и сделала её счастливой. От одиночества — тяжёлого, плотного, как одеяло, которым накрываешься с головой в самую холодную ночь.

— Ты чего? — раздался голос из темноты. Призрачный, чуть шелестящий, как сухая листва по камням.

Вильгельм. Я не видела его — комната была залита лунным светом, но его силуэт не проступал в серых тенях. Однако холод, который всегда сопровождал его появление, я чувствовала отчётливо: сначала на плечах, потом вдоль позвоночника, будто кто-то открыл окно в зимний лес. Он висел где-то в углу, не приближаясь, давая мне пространство, но и не уходя. Он всегда так делал — когда я плакала. Он умел ждать.

— Сон приснился, — ответила я, и голос мой прозвучал глухо, с противной хрипотцой. — Плохой.

— Не похоже на плохой, — усмехнулся он, и в этой усмешке не было насмешки. Скорее, мягкая уверенность человека, который видел тысячи снов — своих и чужих — и научился различать их природу.

— Грустный, — поправила я.

— Расскажешь?

— Не сейчас.

Я не могла. Не потому, что не доверяла ему, а потому, что слова разбили бы хрупкость того сна, превратили его в плоскую историю. И ещё потому, что, рассказывая, я бы снова

увидела её живот, её кольцо, её покой — и снова захотела того же, с острой, незнакомой прежде болью.

Помолчали. Тишина была плотной, как вода в пруду перед грозой. Вильгельм не уходил, просто висел где-то рядом — я слышала едва уловимое потрескивание воздуха там, где его холод встречался с комнатным теплом. Он не мешал, не давил, но его присутствие было как тёплая рука на плече. Или холодная — в его случае.

— Ты тоже хочешь мужа, — сказал он вдруг. Просто, без обиняков, без обычной своей иронии.

— Откуда ты... — начала я, но он перебил.

— Вижу, — сказал он, и в этом коротком слове было столько веков наблюдения за живыми, что мне стало не по себе. — И не стыдись. Хотеть семью — нормально. Даже Хранительницы выходили замуж. Я помню одну — она держала земли на южных рубежах, тридцать лет. И у неё был муж, кузнец. Такой здоровый, бородатый. Он пек для неё хлеб, когда она возвращалась с обхода. И дети у них были — трое, с такими же горящими глазами.

Я не видела его лица, но представила, как он улыбается — той своей полупрозрачной улыбкой, которая не греет, но утешает.

— У меня нет времени, — прошептала я, и этот шёпот был адресован не ему, а мне самой. Оправдание, которое я повторяла сотни раз, когда одиночество подступало слишком близко.

— Время будет, — голос его стал тише, почти невесомым.

— Главное — не упустить, когда появится.

Он исчез — не постепенно, не мерцанием, а вдруг, как выдыхаемый морозный пар. Только холод на мгновение стал сильнее, а потом отступил, оставив после себя лишь пустоту и запах сырой земли. Я знала, что он всё ещё где-то рядом — в стенах, в половицах, в утреннем тумане за окном. Но говорить больше не хотел.

Я повернулась на бок, свернулась калачиком — поза эмбриона, поза защиты, поза человека, который хочет стать маленьким и незаметным, чтобы боль не нашла. Подтянула колени к груди, обняла себя за плечи. Амулет лежал на груди, грел, успокаивал — его тепло было ровным, живым, как сердцебиение. Но тоска никуда не уходила. Она была внутри — глубокая, как колодец, в который упало ведро, и всё никак не удаётся достать.

За окном шумел ветер. Не порывами, а долгой, тягучей песней, которая набирала силу и снова стихала. И пахло дождём — тем особенным запахом, который бывает перед первым осенним ливнем, когда небо ещё чистое, но воздух уже тяжёлый от влаги. Осень. Время сбора урожая и подведения итогов. Сады отдали плоды, поля — зерно, огороды — корнеплоды и соленья. А я, как старое дерево, подсчитывала, что успело созреть во мне.

Я подвела итоги. Вслух, шёпотом, чтобы никто не слышал: — У меня есть дом — тёплый, крепкий, с печами, кото-

рые дышат жаром. Есть люди — тридцать семь душ, считая детей. Есть земля — поля, луга, лес, река. Есть магия — та, что течёт в амулете и во мне, та, что заставляет колосья клониться и ветры стихать. — Я замолчала, сглотнула ком в горле. — Но нет семьи. Нет мужа, который вернётся вечером и просто поставит чайник, не требуя отчёта о делах. Нет того, кто обнимет ночью, уткнувшись лицом в мои волосы. Нет того, кто разделит заботы — не из чувства долга, а потому что наши заботы стали общими. Нет того, кто будет рядом всегда — когда я смеюсь, когда злюсь, когда плачу в подушку, как сейчас.

Я вспомнила Эрика и Селин, как они смотрят друг на друга на людях — стеснительно, но не скрывая. Жака и Брижит — как они перешучиваются, и в каждой шутке слышится долгая привычка быть вместе. Даже кузнеца Мирка и его жену — она приносит ему обед в кузницу, и он оставляет молот, чтобы открыть крынку и поцеловать её в висок. Все эти маленькие, будничные знаки любви, которых я была лишена.

— Твоё время придёт, — сказала во сне та, другая Анна. Она говорила спокойно, уверенно, как человек, который уже получил своё и не сомневается в чужом будущем.

Я не знала, верить ли ей. Но хотелось верить. Отчаянно, как утопающий хватается за ветку. Потому что если не верить, то зачем вставать по утрам, зачем командовать урожаем, зачем вникать в каждую ссору и каждую нужду? Ради че-

го всё это — если вечером возвращаться в пустую спальню, где только амулет хранит тепло?

Утром я спустилась к завтраку красными глазами. Опущенные веки, тени под глазами, нос, который покраснел — я видела себя в тусклом зеркале на лестнице и поморщилась. Но деваться было некуда. В доме ждали, что госпожа сядет во главе стола, как всегда.

Жанна, увидев меня, ничего не спросила. Только бросила быстрый взгляд — тот особенный взгляд, каким смотрят женщины, которые сами не раз плакали по ночам и знают, что вопросы здесь не помогают. Она молча пододвинула кружку с чаем — дымящуюся, с мятой и липовым цветом, — и положила лишний кусок пирога. Вчерашнего, с яблоками, щедро сдобренного корицей. Больше обычного. Жанна умела лечить едой.

— Надо сил набираться, госпожа, — сказала она, ставя передо мной тарелку с творогом и мёдом. В её голосе не было вопроса — только утверждение.

— Надо, — ответила я, и голос мой прозвучал хрипло.

Я взяла ложку, отхлебнула чай — горячий, терпкий, обжигающий горло, и от этого стало легче. Словно жар вымыл остатки ночной тоски.

За столом, как всегда, было шумно. Я смотрела на Эрика и Селин — они сидели рядышком на лавке, плечо к плечу, и под столом я заметила, как их пальцы переплелись. Селин что-то шепнула ему на ухо, он улыбнулся, и улыбка его была

такой открытой, такой юной, что у меня защемило сердце. На Жака и Брижит — те перешучивались через весь стол, бросая друг другу хлебные шарики, и Брижит смеялась тем особенным смехом, какой бывает только у женщин, уверенных в своей любви. На Ольнару — она косилась на одного из молодых парней, помощника кузнеца, и тот, поймав её взгляд, краснел и отворачивался. И в этом неловком, полустыдливом танце было что-то прекрасное — то, что я раньше не замечала или не хотела замечать.

И вдруг меня накрыло. Накрыло осознанием, простым и невыносимым: я тоже хочу так. Хочу любить — не землю, не магию, не долг, а живого человека, с его привычками, слабостями и утренней сонной физиономией. Хочу быть любимой — не за то, что я Хранительница, а просто потому, что я — я. Хочу чувствовать тепло рядом, когда за окном воет ветер и кажется, что весь мир против тебя. Хочу не просыпаться одной в широкой постели, где вторая подушка всегда холодная и не смятая.

После завтрака я дождалась, когда все разойдутся, и подошла к Матиасу. Он сидел на лавке у стены, перебирал сухие травы — рассыпал их на столе, нюхал, откладывая в разные кучки. Пальцы его двигались медленно, будто в полусне, но я знала, что он ничего не упускает.

— Матиас, — сказала я, присаживаясь рядом на корточки, чтобы видеть его лицо. — А вы знаете, как Хранительницы находили себе мужей?

Старик усмехнулся в бороду — длинную, седую, с редкими тёмными прядями, которые помнили лучшие времена. Усмехнулся не надо мной, а скорее над самой постановкой вопроса — так усмеваются старые мастера, когда ученик спрашивает: «А как правильно забить гвоздь?»

— Обычно не искали, — сказал он, откладывая пучок звёробоя. — Сами находились. Земля чувствует, кого ей не хватает. И притягивает нужного человека. Как корень тянется к воде.

— А если не находится? — спросила я тише. Вопрос прозвучал почти жалобно, и я тут же пожалела о такой интонации.

— Тогда ждали, — он поднял на меня глаза — светлые, выцветшие от времени, но острые, как хорошо отточенный нож. — Твоё время ещё не пришло, леди Анна. Не торопи. Сначала укрепи землю. Потом придёт и любовь. Нельзя посадить семя и в тот же день выкопать, чтобы проверить, проросло ли. Оно само проклюнется, когда почувствует тепло.

Он вернулся к травам, давая понять, что разговор окончен. Я кивнула, хотя внутри всё кипело — от нетерпения, от недоверия, от детского «хочу сейчас». Мне казалось, что моё «потом» никогда не наступит. Что я так и останусь одна — с амулетом, с землёй, с людьми, которые смотрят на меня снизу вверх.

Вечером, сидя в беседке, я смотрела на звёзды. Они здесь были другими — не такими, как в моём мире. Крупнее, яр-

че, с лёгким голубоватым отливом. Млечный Путь тянулся через всё небо, как рассыпанная мука, и в его гуще иногда вспыхивали и гасли точки — то ли падающие звёзды, то ли что-то иное, чего я не понимала. Ветер уже стих, воздух сделался прозрачным и холодным, и от российской травы тянуло горьковатым тленом — последним вздохом лета.

Я думала о своей земной жизни. О той, другой Анне, которая теперь живёт в моём теле, спит на моём продавленном диване, гладит моего рыжего кота. О её муже — соседе с лестничной площадки, который ходит в футболке и водит автобус. О будущем ребёнке — девочке Ане, которую назовут в честь нас обеих. О том, что, возможно, это и есть справедливость — каждая из нас получила то, что было нужно другой. Она — покой, семью, тепло. Я — силу, землю, предназначение.

— Я не хочу завидовать, — прошептала я, глядя, как над лесом зажигается особенно яркая звезда. В горле пересохло, хотя рядом стояла кружка с давно остывшим чаем. — Я не хочу завидовать, но я хочу семью. Я хочу своё маленькое счастье. Не вместо земли и долга — вместе с ними. Неужели это так много?

Ветер стих. Совсем. Стало тихо — так тихо, что я услышала, как в траве у беседки шуршит ёж или мелкий зверёк. И в этой тишине мне почудился ответ. Не голос — скорее ощущение, уверенность, которая пришла откуда-то из-под сердца, из того места, где лежал амулет. «Будет. Всему своё

время».

Я сжала амулет в ладони — он был тёплым, как живой, и под пальцами я чувствовала его гладкую поверхность, чуть шершавую от мелких царапин. Улыбнулась — сначала робко, потом шире. В улыбке этой была и грусть, и надежда. Будущее пугало и манило одновременно. Оно было тёмным, как осенняя ночь, но в этой темноте уже начинали загораться звёзды — по одной, по две, по три. Я не знала, каким оно будет. Но я верила — всё будет хорошо. Иначе зачем всё это? Зачем лето, урожай, новые люди, старый маг, призрак, который умеет молчать, когда нужно, и говорить, когда больно? Зачем амулет, который греет даже в самую холодную ночь?

Зачем всё это, если не ради того, чтобы однажды проснуться и понять: ты дома. И не одна.

## Глава 4

Осень вступила в свои права. Не резко, не с хамским вторжением, как бывает в иные годы, а мягко, по-хозяйски — будто земля сама решила, что пора отдохнуть, и начала неспешно укутываться в покрывало из мха и палой листвы. Листья облетели — не все сразу, а постепенно, день за днём, и последние жёлтые пряди ещё держались на берёзах у лесной опушки, но уже просвечивали насквозь, как старая бумага. Травы пожухли, потеряли цвет и запах, только полынь ещё горчила на межах да крапива чернела жёсткими стеблями. По утрам лужи затягивало тонким ледком — прозрачным, хрупким, он лопался под сапогом с тихим звоном, похожим на бой самой мелкой монеты. Воздух стал сухим и острым: вдохнёшь полной грудью — и по рёбрам будто иголочками проходится.

В усадьбе готовились к зиме основательно. Не так, как в прошлом году, когда мы дрожали от холода в нетопленных комнатах, кутались во всё, что нашлось в сундуках, и считали каждый кусок хлеба так, будто он был золотым. Тогда, помню, я просыпалась по ночам от того, что зубы выбивали дробь, и не могла согреться даже под двумя одеялами. А по утрам Жанна разводила скудный огонь в печи и варила кашу из того, что оставалось, — чаще всего из подмёрзшей крупы с лебедой, которую мы собирали в полях. Теперь всё было

иначе. Теперь в кладовых теснились бочки и кадки, на чердаке висели связки сушёных трав, в погребе ровными рядами стояли банки с соленьями и вареньем. Зима не пугала — она была просто временем года, а не врагом, которого надо пересидеть.

Мужчины уходили в лес затемно — когда на востоке только начинала брезжить серая полоса, а звёзды ещё не погасли. Возвращались под вечер, усталые, пропахшие дымом и хвоей, но довольные — с добычей, с рассказами, с чувством сделанного дела. Мирк, старый конюх, оказался опытным охотником. Я и не подозревала, глядя на его сторбленную спину и руки, скрюченные артритом, что он может часами стоять неподвижно в засаде, слушать ветер и угадывать звериные тропы. Он знал все лёжки, все переходы, все места, где зверь выходит на водопой. «Лес — он как книга, — говорил он, доставая из сапога нож. — Надо только читать уметь». Жерар ходил с ним, хотя магия помогала мало — она была для другого, для земли, для роста, для защиты. А здесь нужны были не заклинания, а терпение и меткий глаз. Он учился стрелять из лука, и сначала стрелы его летели куда угодно, только не в цель. Но к середине осени он уже приносил по зайцу за вылазку — и гордился этим больше, чем любым колдовством. Робер, плотник, тоже не отставал — его топор пригодился не только для досок; он мог разделать тушу так, что ни одного лишнего движения, ни одного испорченного куска.

— Сегодня двух косуль взяли, — сообщил Мирк, стягивая промокшие сапоги у порога. Пальцы его дрожали от холода и усталости, но глаза блестели. — Жирные, осенние. На сало и мясо до самой весны хватит.

— И зайцев пяток, — добавил Жерар, ставя на лавку лук и колчан с остатками стрел. На щеке его краснела свежая царапина — ветка хлестнула, — но он не замечал её, так был возбуждён удачей. — Шкуры на шапки пойдут. И детям на рукавички.

Я смотрела, как они выгружают добычу на расстеленный мешок прямо во дворе. Туши косуль — тёмные, лоснящиеся, с ещё тёплой кровью на разрезах. Зайцы — серые, пушистые, с длинными задними лапами, которые уже дёргались последними судорогами жизни. И радовалась. Не потому, что любила охоту — сама бы не смогла, наверное, поднять руку на живое существо. А потому, что они делали это для всех. Для дома. Для нас. Для того общего котла, из которого зимой будем хлебать все вместе.

— Рыбу вчера наловили, — сказал Робер, занося сеть с крупными окунями и щуками. Сеть была старая, кое-где залатанная, но держала крепко. Рыба в ячеях билась, сверкала серебром и зеленью, и у меня потекли слюнки при мысли о том, как хорошо пойдёт ушица копчёным мясом. — Жанна, солить будешь?

— Буду, — ответила кухарка, засучивая рукава выше локтя. Руки у неё были красные от холодной воды, но голос зву-

чал бодро. — И вялить буду. На всю зиму хватит. Будет чем суп наваристый сварить, когда метели зарядят.

Вечерами вся усадьба пахла дымом, рыбой и мясом. Запахи смешивались, перетекали из комнаты в комнату, поднимались на второй этаж и оседали на шторах, на скатертях, на моих волосах. Пахло так густо, что, выходя на крыльцо, я чувствовала этот шлейф за собой ещё десять шагов. Жанна солила, коптила, сушила. Астер и Ольнара помогали чистить, потрошить, разделывать. Пальцы их привыкли к этой работе: быстро, ловко, без лишней брезгливости. Я стояла рядом, училась — в прошлой жизни, земной, я покупала рыбу уже готовой, в вакуумной упаковке, и понятия не имела, что внутри у неё и как правильно вынимать внутренности, чтобы не повредить желчный пузырь.

— Руками надо, руками, — ворчала Жанна, показывая, как проводить ножом по брюшку и вычищать потроха. Голос её был строгим, учительским, но я замечала, как она украдкой посматривает на меня — проверяет, не отвернусь ли, не побрезгую ли. — С любовью. Тогда и вкуснее. Рыба, как женщина, ласки требует. Грубо возьмёшься — и мясо жёстким станет, и навар мутным будет.

Я кивнула и взяла очередного окуня. Скользкого, холодного, с круглым глазом, который, казалось, смотрел на меня с немым укором. Но я вела ножом, как учили, и постепенно руки перестали дрожать.

Рыбные ряды укладывали в бочки. Сначала слой соли —

крупной, сероватой, из мешка, который мы выменяли ещё летом на зерно. Потом плотный ряд рыбы, брюшком кверху, чтобы соль лучше проникала. Потом снова соль, снова рыба, и так до краёв. Сверху — деревянный круг и гнёт, чтобы сок не вытекал, а оставался внутри. Бочки ставили в подвал — там, при низкой температуре, рыба будет солиться медленно, доходить до нужного состояния два месяца. Кто-то скажет: долго. А я думала: правильно. Хорошее нельзя торопить.

Мясо коптили в специальной коптильне, которую смастерил Мирк — бочка из-под муки, приспособленная для дыма. Внизу — очаг с ольховыми щепами и можжевельновыми ветками, в середине — решётка из прутьев, сверху — крышка с отверстием. Мясо предварительно вымачивали в рассоле с чесноком и перцем, потом подвешивали в дыму. Процесс был долгий, неторопливый, и я любила стоять рядом, вдыхать густой, смолистый запах и смотреть, как розовеют куски, как на них оседает золотистая корочка.

В прошлом году мы голодали.

— Помните: каша из топора, хлеб с лебедой, — сказала я однажды вечером, сидя за ужином. Мы собрались в большой горнице: на столе горела свеча в медном подсвечнике, и её свет плясал на лицах, выхватывая морщины, шрамы, седые пряди.

— Помним, — кивнул Мирк.

— Помним, — тихо сказала Астер, и в её голосе прозвучала такая глубокая, такая тёплая благодарность, что у меня

защипало в носу.

— А у нас сейчас — и мясо, и рыба, и овощи, и крупа, — я обвела рукой стол. На нём стояла глиняная миска с тушёной капустой, другая — с картофелем, третья — с солёными огурцами. Рыба, копчёная, золотистая, лежала на деревянном блюде, издавая такой аромат, что даже сытые тянули носы. — Зима будет сытной. Я не обещаю, что будет легко, но голодными мы не останемся.

— Не будет, — поправил Матиас, поднимая голову от кружки. Он сидел в углу, в тени, и я почти не видела его лица — только белые пряди и руки, спокойно лежащие на столе. — Сытость не главное.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.